

Владимир Гиляровский

# Люди с волчьим видом



Часть сборника  
*Москва и москвичи (сборник)*



Москва и москвичи // Эксмо, М., 2008

ISBN: 978-5-699-11515-0

FB2: "shum29" <au.shum@gmail.com>, 15.11.2008, version 1.0

UUID: 3ab077de-04a4-102c-99a2-0288a49f2f10

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Владимир Алексеевич Гиляровский

## **Люди с волчьим видом** (Друзья и встречи)

«Июль месяц. Еду по Волге в астраханские степи описывать чуму по поручению редакции.

Публика на пароходе довольно серая – поговорить не с кем. И за весь рейс от Ярославля до Нижнего меня заинтересовал только один человек, или, лучше сказать, бывший человек, о котором я и рассказываю...»

**Владимир Гиляровский**

**Люди с волчьим видом**

**И**юль месяц. Еду по Волге в астраханские степи описывать чуму по поручению редакции.

Публика на пароходе довольно серая – поговорить не с кем. И за весь рейс от Ярославля до Нижнего меня заинтересовал только один человек, или, лучше сказать, бывший человек, о котором я и рассказываю.

Пароход остановился у Кинешмы. Погрузился. Сняли сходни. Стали отваливать. Пока происходила погрузка, обратил невольно мое внимание на себя молодой человек, жилистый, оборванный, босой, с котомкой за плечами, а на котомке болтался жестяной чайник. Он как-то особенно спокойно стоял на краю пристани, даже не интересуясь суетой и движением вокруг.

Исхудавшее лицо, темное от загара, и с обеих сторон распухшая шея: какие-то два громадных желвака от ушей до плеч.

Едва убрали сходни и пароход двинулся, как он с тем же совершенно спокойным видом сделал прыжок и очутился на пароходе и через минуту так же невозмутимо сидел на нижней палубе на скамейке, рядом со стару-

хой-богомолкой.

Я подсел к ним и открыл табакерку.

– Угостите.

Бродяжка нюхает и чихает, любитесь табакеркой.

– Под чернетью. И внутри позолота ладная... А шалниры-то какие. У меня дядя серебряник, я знаю.

– А что у тебя с шеей?

– Давно это у меня так. Застудил, так и осталось. Да оно не мешает мне.

– Откуда? – спрашиваю.

– Из Ростова-Ярославского.

– А далеко?

– Пока не ссадят. Куда-то в Астраханскую. Забыл город, сейчас посмотрю.

Он вынул из тряпки бумагу, посмотрел и сказал:

– В Енотаевск. Уж придумали городок, язык переломишь. Енотаевск... Чтоб ему ни дна, ни покрывки...

Дальше – больше, разговорились. Оказался знакомый тип: человек с волчьим видом.

– Да уж документик сподобили, иди, пока не умрешь. Иди, на сутки поработать нигде

нельзя остановиться, или воруи, или грабь, или умирай, если Христа ради не подадут. Вот он настоящий волчий паспорт, пожалуйста-с.

И подал мне печатный документ с приложением печати.

Это был вид, но не вид на жительство, а вид на право идти без остановок. Законный вид на бродяжничество, волчий паспорт, с которым всякий обладателя его имеет право гнать из-под своей крыши, из селения, из города. Я целиком списал этот вид и привожу дословно:

«Проходное свидетельство, данное из Ростовского полицейского управления, Ярославской губернии, административно высланному из Петербурга петербургскому мещанину Алексею Григорьеву Петрову, на свободный проход от г. Енотаевска Астраханской губернии, в поверстный срок с тем, чтобы он с этим свидетельством нигде не проживал и не останавливался, кроме ночлегов, встретившихся на пути, и по прибытии в г. Енотаевск явился в тамошнее полицейское управление и предъявил проходное свидетельство».

Подпись, которую, как и все подписи на до-

кументах, разобрать было невозможно. Я возвратил вид на бродяжничество и спросил:

– Почему именно в Енотаевск?

– Да вот в Енотаевск, чтобы ему ни дна, ни покрышки...

– Кому – ему? Енотаевску?

– Нет, чиновнику.

– Какому?

– Да в Ростове. Вывели нас из каталажки, поставили всех в канцелярии. А он вышел, да и давай назначать кого куда. Одного в Бердичев, другого в Вологду, третьего в Майкоп, четвертого в Мариуполь. Потом позабыл город, потребовал календарь, посмотрел в него, потом взглянул на меня да и скомандовал:

– В Енотаевск его пиши. И остальных по календарю, в города, которые называются по-чужднее, разослал... Шутник.

– За что ж тебя из Петербурга турнули?

– Из-за дворника. Дворнику как-то на пару пива не дал, он и обещал попомнить. Ну, и попомнил. На заводе у нас беспорядки были, и я тоже в толпе был и не шумел, а вот попал. Когда стали арестовывать, дворник и попомнил, указал на меня. На восемь лет и высла-

ли... четыре года хожу, а четыре еще осталось.

Это благодетель-чиновник из Харьковской губернии меня в Колу махнул. И натерпелся. Через Архангельск да по тундрам. Коты на ноги дали... Из Колы опять этапом в Городище Пензенской губернии махнули... А оттуда в Ростов... Через Казань пошел, по Волге, через Нижний, в казанской больнице лежал...

В Нижнем я стою на палубе парохода и смотрю на выходящих пассажиров, у которых капитан строго отбирает билеты.

Мой бродяжка подходит ко мне и жалуется, что после Нижнего зайцем больше ехать нельзя, контроль будет строгий. И делает движение, чтобы уйти. Я вынимаю пять рублей и сую ему в руку:

– Купи билет и поезжай спокойно.

Он зажал деньги и смутился. Что-то хочет сказать и, видимо, не может. Затем он запустил руку к себе в карман, вынул мою табакерку, сунул ее в карман моей тужурки, где я ее обыкновенно ношу, и без оглядки бросился бежать сквозь контроль, оттолкнув матроса, который чуть не упал... И сразу пропал где-то... Шум-гвалт... Потом все успокоились. Он

исчез...

И понять не могу, как он в одну минуту так ловко выудил из кармана мою табакерку.

\* \* \*

С историей моей табакерки и этим бродягой еще раз связана моя последняя в жизни, любимая мною с юных дней степных скитаний охота на волка в угон, давно-давно забытая. Охота эта калмыцкая и казачья, потому что для нее нужны волк, степь и лошадь. Да еще особая нагайка, волчатник. От обыкновенной казацкой нагайки она отличается тем, что она длиннее наполовину и втрое толще, хотя сплетена также из тонких сыромятных ремней, а иногда в нее вплетали кусок свинца. Только это совершенно лишнее – и без свинца удар такой нагайки страшен, а с коня, на скаку, она разбивает волчий череп, а то и хребет можно перешибить.

Десятки лет эта моя старая приятельница по охоте хранится у меня...

И вот – это было в последний год прошлого столетия, поздней осенью – я был на зимовниках сначала в задонских степях, а потом и проехал в ногайские и зеленчукские степи,

на хутор к молоканину овцеводу и коннозаводчику, по его просьбе я помог купить как-то для его табунов двух английских жеребцов-производителей.

Там – то случайно и пришлось поохотиться, еще раз повторяю – последний раз в моей жизни, в угон на волка, и удалось залобанить такого матерого, каких я никогда и не видывал. Степной волк, широкий, могучий, шерсть у него короткая и густая. Шкура этого волка лежала у меня в кабинете ковром до самой первой революции – и все как новая.

Осмотрев табуны, производителей и жеребят от них, я собирался уже ехать в Москву и с рассветом просил приготовить лошадей.

Накануне, по обычаю благочестивейшего молоканского семейства человек из десяти, мы сели за ужин часов в восемь вечера, ели после разных закусок лапшу из индейки, жареных кур, баранину жареную, соленые бараньи язычки, пшеничную кашу с молоком и на закуску по полной тарелке взвара, т. е. компота из свежих персиков, груш, яблок и вишен...

После ужина я отправился в комнату для почетных гостей спать до рассвета.

Комната большая, светлая, с коврами и двумя кроватями. Высота кроватей в рост человека, потому что на них распухли в три ряда пуховики, и по шести подушек в головах. Забираться на такую постель приходилось с особой специальной скамейки, а как ляжешь, как охватят тело пуховики – так и заснешь сразу. Да на том боку, на который лег, и проснешься – спишь как убитый...

Еще не рассветало, а мы уже пили чай, опять вся семья вместе, за тем же огромным столом с ведерным самоваром, с печеньями, закусками, холодными и дымящимися: тут и гора белых горячих пышек, и блюдо бараньих язычков, и нога холодной баранины, и дымящиеся блюда с нарезанными большими кусками легкого, сердца и печенки – и опять передо мною та же батарея наливок... А хозяйка уже уложила мне всяких съестных припасов и бутылок в корзину на дорогу... так думаю, пятерым до Москвы хватит.

И вдруг во время чаепития вбегает чабан и жалуется, что у него ночью волк барана утащил и жрет его в бурьянах, за балкой около старой базы, а база эта верстах в двух от хуто-

ра.

Я обратился к старику:

– Поседлайте Няяду...

Это прекрасная полукровка, дочь знаменитого Дирбоя, на которой я ездил по его табунам.

– И я поеду, – сказал старший сын Федя, наездник и охотник.

Через пять минут мы подъезжали к базе, окруженной бурьянами. Сзади бежал чабан и указал нам место:

– Там он залег, бирюк-то!

– Действительно, зашевелились полосой бурьяны и в полосе замелькал убежавший волк...

Солнце зазолотило седло и головы Эльбруса.

Утро тихое, чудное, холодное...

Волк вырвался из бурьянов и мчал по голубой степи. Мы неслись за ним, намеренно держась от него шагах в двухстах. Степь на бесконечное пространство гладкая, без кустика, даже без бурьянов. Все на виду... Волк мчится, не оглядываясь. Он чувствует... Он инстинктом чувствовал, когда мы прибавля-

ли хода, – и усиливал свой бег... Мы сдерживали коней, а он все удирали – и наконец, оглянулся и пошел потише... Мы опять несколько сажен пустили порезвее, и он помчался... Так играли с ним долго... Он шел к горам – они верстах в ста от нас, – шел по прямой линии, как стрела... Он шел шагах в трехстах от нас – и мы скачем.

Он все ближе и ближе... Голову держит вбок... Мы видим его высунутый язык... Мы опять немного сдержали...

– У меня лошадь захромала, езжайте.

И спутник мой слез с коня. Я оглядываюсь. Ведет лошадь в поводу – она припадает на правую ногу. Он что-то кричит мне и машет рукой. Мне не до него. Скачу.

Через минуту я все забыл, кроме волка, и мчался за ним, не оглядываясь. Настали минуты горячие... Я то догонял его, то давал передышку лошади, а он драл вовсю по прямой линии. Волк знал, что свернуть в сторону – значит сократить расстояние в пользу врага...

Но он ошибался: у лошади, у этой чудной Наяды, бравшей барьерные призы на скачках и не боявшейся ни выстрелов, ни зверя, запас

сил был огромный... Притом она отдыхала то и дело на переменном аллюре, а он лупил без передышки и стал выдыхаться... Язык его во-лочился чуть не по земле...

Впереди затемнелись две узкие и длинные полосы бурьянов, росших по неглубокой балке, близко от меня переходившей в степь, а вправо тянувшейся далеко по направлению к горам... Во время дождей туда гоняют табуны... Я налег в карьер... Волк шагах в ста от меня. Видимо, зарьял, но торопится к балке... По всей вероятности, он знал это убежище... Я еще ближе к нему, шагов на пятьдесят... Вот он в бурьянах близ оврага – только ему нырнуть – и спасен...

На самом берегу балки на момент остановился, воззрился на меня – я круто повернул лошадь к горам и сделал несколько скачков вправо, вдоль оврага... Волк нырнул и скрылся...

Я знаю привычки зверя давным-давно... Еще с юных моих шатаний в задонских степях. И я не ошибся.

Повернув кругом лошадь, я скачу по краю балки влево от гор и вижу: серый с вытяну-

тым языком лежит посредине балки и, увидев меня – все это измеряется секундами, – вскочил, зашатался и тяжело захлюпал к выходу в степь... Я свищу, гикаю, держу его от себя шагах в тридцати и вижу, что он выдохся и сейчас упадет...

Это не в моих расчетах: к лежащему или сидящему волку подходить нельзя – бросится и зарежет коня... Я даю ему выбраться на простор степи, посылаю Няяду, и мы скачем с ним рядом, не убавляя резвости: волк зарьял, язык беспомощно болтается...

В два прыжка я догоняю его и бью по черепу плетью. Он тычется носом в землю... Я быстро повертываю ловкую Няяду, чтобы быть сзади головы волка, чтоб снова его догнать, но он исходит слюной и беспомощно скребет лапами по траве... Рискую и еще раз бью его по голове, и отскакиваю в сторону... Он продолжает лежать на брюхе, вытянув задние ноги и судорожно шевеля передними, на которых лежит голова с вытянутым языком... Я объезжаю в сторону и кружу шагом, давая отдыхать уставшей Няяде... Посматриваю издали на волка и наслаждаюсь понюш-

ками табаку...

Волк не шевелится. Объезжаю кругом. Не шевелится... Еще раз бью его по голове, а потом поперек хребта, около почек. Готов серый...

Слезаю с Наяды, разминаю ноги...

А кругом глухая степь. Ни табунов, ни отар овец, ни птички... Только вдали-вдали шевелится точка – это тушканчик сложил молитвенно лапки, но и тот скоро ушел в нору... Высоко-высоко появился орел... Потом другой... Они кружат надо мной, но не спускаются... Вдали появился третий...

И как это они учуяли добычу... И не ошиблись... Они знают что знают – знают, о чем и мечтать не смеет наша мудрость!

Вдали движущаяся точка. Пара лошадей, запряженная в нетачанку... Это Федя с кем-то торопится... Лошади прекрасные, несутся вскачь...

Я со скуки полтабакерки вынюхал... Федя радуется:

– Ну, взяли-таки зверяку. А я кричал вам, чтобы не допускали до балки... У меня конь сплечился... Все-таки доехал и за вами прие-

хали... Ну, ловко...

Осмотрели волка.

– Череп разбит. Думаю, что с первого удара... А хорош, ах хорош. Как вы его не упустили... Доберись до балки – ушел бы в горы...

– Да не ушел вот!

– Ловко...

И обратился к казаку:

– Митро, а ну-ка свежуй.

– Ну и брюхо набил. Знать, целого барана стравил! – бормотал Митро, сдирая волчью шкуру.

Я ехал шагом на Няяде с нетачанкой, рассказывая подробности охоты, к великому удивлению Феде, и получил одобрение от Митро, старого охотника, который не удержался и перешел на «ты»:

– Бирюка перехитрил. Вот так черт!

– А ты нечистого не призывай и черных слов не произноси, – сделал ему замечание Федя, правоверный молоканин.

Навстречу нам низко и торопливо летели два орла.

– На обед едут, – указал кнутовищем казак.

Я оглянулся... Штук десять орлов и коршу-

нов кружились над редкой в это время добычей, а влево Эльбрус покрывался темными тучами.

– Снег будет, – сказал Митро.

\* \* \*

После обычного обеда, такого же, как и вчерашний ужин, с добавкой только гуся с яблоками и горы куропаток на огромном блюде, мы ходили по конюшням, пили чай, и после чая Митро на прекрасной паре золотистых корольковских персюков мчал меня под густыми тучами на Богословскую станцию.

Ногайская степь, как и всегда в это время, была мертвая, безжизненная, холодная и безмолвная. Разве встретится стадо молуканских овец, поднимется орел, сорвется стая куропаток, да иногда промчится на коне ногаец, потомок бывшего властителя этих степей, – а там опять тишь, мертвая тишь зимней степи, безлюдная, безмолвная...

На половине дороги начался снежный пурган... Коней не видно!

Но вот мелькнул красный диск, вдали слышится свисток паровоза и сразу переносит от мира и покоя беззаботной степи в безалабер-

ную суету столицы, где приходится быть осторожнее, чем здесь, в этой дикой пустыне, между степными волками и вооруженными жителями...

Лишнее слово, иногда лишний стакан вина, неосторожное движение – и погиб скорее, чем в глухой ногайской степи...

Одновременно с бежавшим и пыхтевшим поездом, побелевшим от снежной пурги, я подъехал к вокзалу и, тоже весь заледенелый, покрытый снегом, прямо бросился к буфету, чтобы как-нибудь согреться. Был второй час ночи. Оказалось, что пришел сильно запоздавший от сильной метели скорый поезд, идущий на север. Через три минуты он отправляется. Придется ужинать и согреваться в поезде. Беру ужин: белый хлеб, колбасу, бутылку водки и две бутылки пива. Подарок поберегу до Москвы – жаль откупоривать. Митро тащит за мной багаж. Бросаюсь в первый попавшийся вагон первого класса и вваливаюсь в пустое купе. Чемодан и корзинку с гостинцами бросаю на сетку, волчью шкуру, связанную шерстью вверх, на пол и прощаюсь с Митро. Кондуктор входит за билетом и

говорит:

– Вам бы в другой вагон, это старинный, неудобные диваны, жестко да и трясучий... Рядом пульмановский, тоже пустой идет.

– Э, все равно, – отвечаю.

Колеса закрипели по рельсам, загромыхали на стрелках, и поезд потянулся на север.

Я старался взглянуть в окно, да оно все было бело от снега и льда. Мелькнула в памяти моей не сходявшая несколько дней с моего горизонта голова Эльбруса, и сделалось как-то грустно...

С помощью кинжала я разрезал колбасу, причем добрая половина ее упала на пол и откатилась к двери, где на полу лежала мерзлая волчья шкура. Я посмотрел на нее, но, усталому, было лень протянуть руку. Выпив и съев колбасу, я хотел достать упавшую половину, но ее не было: укатилась под мой диван.

Дорожа каждым лишним движением, я взял бутылку пива и поставил ее на пол, чтоб можно было достать легко рукой, и лег, сделав несколько глотков. Лег и вытянулся.

Это блаженство, которого я давно не испы-

тывал. Я стал уже забываться, как вдруг волчья шкура, лежавшая на полу у двери, зашевелилась.

Уж не дух ли какого-нибудь кабардинца или ногайца вселился в волка?

Затем стоявшая рядом с диваном бутылка с пивом кланяется горлышком к окну, причем выливается несколько капель на пол, и исчезает.

Исчезает на глазах. Уползает под мой диван. Я нюхаю табак и соображаю – что такое. Вдруг под собой слышу:

Буль... буль... будь...

Кто-то пьет под моим диваном. Приподнимаюсь, чтобы вскочить, и вдруг вижу вылезающее из-под дивана горлышко бутылки, а затем чью-то руку, старающуюся аккуратно, без шума водворить бутылку на прежнее место.

Моментально вскакиваю, запускаю обе руки под диван и вытаскиваю оттуда злополучнейшего из людей. Несчастный, оборванный, бледный.

Шепчет:

– Не убивайте меня!

Я поднял его, крепко встряхнул для остротки и с размаху усадил на противоположный диван.

– Попался, дьявол!

Он умоляюще смотрел на меня и молил о пощаде... Я встал, проверил, заперта ли дверь, и открыл занавеску половины фонаря, осветив противоположный диван.

Передо мной сидел, дрожа и щелкая зубами, оборванец в лаптях, в башлыке, окутавшем плотно голову.

Он воззрился на стол, ткнул пальцем на табакерку, на которой ярко сверкала золотая буква Г. И рот раскрыл в недоумении.

– Ведь это она! Это, значит, вы?!

Упал передо мной на колени.

– Теперь я вас узнал... Ведь это я... Вот шея-то, поглядите.

Сорвал башлык. Громадные желваки от ушей до плеч.

– Это я.

И вспомнился мне пароход на Волге.

– Я вот тогда у вас ее, – показывает на табакерку, – за ваше добро у вас из кармана стырил... Я хотел на ней доехать до Астрахани...

Это за хлеб-то за соль вашу... Поили, кормили, а я... Весь век мучаюсь, как поминаю...

Бормотал он нескладно, отрывисто, без умолку. Я молчал и слушал и, наконец, в знак мира открыл табакерку и поднес ему.

– Черт с тобой, прощаю. Садись!

Сразу повеселел. Понюхал, чихнул, сел на диван и все бормочет, бормочет нескладно и жалобно, в грехах своих кается...

Я подал ему бутылку с водкой. Он жадно потянул и закусил хлебом, а я наклонился под диван и ищу колбасу.

– Вы колбасу? Я ее стравил. Я давно уж ничего не ел.

Затем он доел весь хлеб, допил пиво и начал рассказывать свои похождения, стараясь доказать первым делом, что залез на станции в вагон без всякой цели грабежа и убийства, а только чтобы погреться и добраться до станции Кавказской...

– Ну что? Все еще с волчьим паспортом? – спрашиваю я.

– На кой он. Нешто к зиме с ним можно? Давно бросил. Лучше бродягой называться, до весны просидеть, а то в степи замерзнешь те-

перь.

– А перо зачем? – спросил я, указывая на валявшийся на полу нож.

Он сконфузился – не смел мне врать. Это чувствовалось. Молчит.

– А ежели бы не я, а женщина одна ехала в купе? А если бы я уснул? Сонного пришить легко ведь...

– Что вы... что вы... Нешто вас можно?! Вот табакерка-то, как увидел ее, так и... так и узнал вас сразу по золотой букве... Нешто я ее забуду когда, во веки веков, – бормочет.

– Так значит, стой на столе табакерка боком или дном кверху, так... Ну да плевать, расскажи ты мне, где побывал после Нижнего...

– Ой, да уж что говорить. Везде... Ведь два года с гаком прошли... Ну тогда, после вас, на зевекинском пароходе я сбежал на низ... К зиме проходное бросил – сказался на Псков. Этапом послали... К весне опять вышел. В Питере опять в полицию... Послали в Яренск... А я под Любань к сестре Варваре ударился, всю зиму у ней околачивался... Весной опять на Волге маячил, к зиме к дяде серебрянику в Питер, а

оттуда вот этим летом выслали в Пермь, а сюда подался... Все лето здесь по хуторам околачивался... Было – и хорошо пожил, у молотков работал. Да дело одно не вышло... Ухрял... Только ту зиму у сестры Варвары и отдохнул, за дворника работал и за кашевара...

Просит о пощаде, клянется и божится, что больше никогда не будет.

А чего «никогда не будет» – не говорит.

Поезд загромыхал по стрелкам станции Кавказской и остановился.

– Ну, убирайся... Вот тебе на разживу.

Дал опять пять рублей и выгнал. Уходя, он нагнулся, чтобы поднять свой нож, но я наступил на него ногой:

– Ножа не дам. Пошел вон.

Исчез. Лезвие ножа, узкое, остро наточенное, вершка четыре длины, ручка роговая кольчатая, дагестанской работы. Кожаные ножны я нашел после под диваном. Потом оказался простым железным, и я им до сего времени разрезаю книги...

Я видел, как он выскочил из вагона в противоположную дверь на неосвещенное полотно дороги и побежал за дрова.

Это был бродяга по закону. Такие не имели возможности пристроиться где-либо в одном месте, а обязаны были идти и идти без дороги, без цели, без конца. Идти до смерти.

Нередко весной в донских и кубанских степях, особенно после снежных зим, находили трупы оборванцев, а иногда только кости, растасканные зверями и собаками.

В большинстве случаев эти несчастные бродяги по закону, не привыкшие к местным условиям, погибали от холода, голода и метелей.

С наступлением холода много их появлялось на станциях Владикавказской железной дороги. Изможденные, оборванные, измученные, дрожащие в отрепьях от холода, они вечно осаждали начальников станций и жандармов просьбами довести их до следующей станции.

Масса краж из вагонов, грабежей около станций железных дорог совершалась ежедневно по линии, и хотя далеко не все совершали их «бродяги по закону», но все сваливалось на них.

Да и удобно: люди без настоящего и буду-

щего, которым тюрьма – дом, кандалы – игрушки.

Люди с волчьим видом.

– Почет тебе, как волку бешеному: ни тебе работы, ни тебе ночлега – мандруй без останова, пока не сдохнешь! – объяснил мне откровенно один из таких.

И тоже припомнил сестру Варвару, как и тот мой бродяжка.

И я разыскал эту удивительную сестру Варвару.

Действительно, близ Любени, станции Николаевской железной дороги, жила сестра Варвара в основанной ею же пустыньке, приюте для проходящего, скитающегося люда.

Эта пустынька – истинное благодеяние. Сестра Варвара, украинка по рождению, богатая помещица, блиставшая когда-то в обществе, прекрасно образованная, долго жившая за границей, после смерти мужа вся отдалась служению несчастному, страждущему люду. Она изучила труппы, поняла быт бесприютных скитальцев, людей с волчьим видом, и создала им приют на пути следования из Петербурга в глубь России.

Уже несколько лет существовал этот приют, состоящий из домика, где накормит и напоит бесприютных сестра Варвара.

Во время обеда она читала своим оборванным беспаспортным гостям книги или что-нибудь рассказывала, выслушивала злоключения каждого, ищущего услышать слово человеческое, ободряла его.

Приходили дождливой осенью и холодной зимой полунагие, голодные, грязные...

Принимала людей грязных, зловонных, которых все сторонятся, людей без паспортов, с темным прошлым, готовых на преступление, которых все гонят от себя, боясь за свою собственность и жизнь.

А сестра Варвара принимала их, как своих родных, обмывала их, перевязывала их раны, даже выстроила им баню.

Это было давно. В прошлом столетии. О дальнейшей судьбе сестры Варвары я с той поры не слышал.